

борьбой за права личности. Этот принцип распространился и на европейские нации, национальное начало которых перестало быть собирающим фактором, а уподобилось гигантским индивидуумам, сражающимся за свои права, выгоды и прерогативы [35]. Западному индивидуализму евразийцы противопоставляли соборность Древней Руси как основу православного государственного мироустройства. К восхвалению автономной личности на Руси всегда относились с недоверием, видя в этом проявление человеческой гордыни. Уравнение индивида и общества и вытекающее отсюда требование одиночки к обществу ради обретения больших прав, подмена государства индивидуумом воспринимались в России как нечто безнравственное. В формуле «Мы есть третий Рим» важен был акцент не только на Риме как символе нарождающейся Московской империи, но и на самом этом «мы». «Мы» как начало соборное, связующее, придающее обществу однородность, а следовательно, относительную социальную гармонию, было прочной традицией государственного устройства России, оно так или иначе пронизывало все звенья русского общества, будь то православная церковь или крестьянская община.

Можно по-разному относиться к официальным правительственным доктринам, однако сам факт того, что «народность» была уравнена в правах с «самодержавием», будучи осененной единой духовной основой, соединяющей все слои общества, — «православием» (сравним у Толстого: «Левин видел, что Кити верила, и Агафья Михайловна верила» — и это уравнивает и Кити, и Агафью Михайловну), заслуживает внимания. Государственная власть в России никогда не отказывалась от прерогативы диктовать нравственные нормы обществу и отдельному индивиду (ср. постулат «за веру, царя и отечество»). Идеал святой Руси с ее соборным началом так или иначе сохранялся в России в последующем приоритете государства, его роли в урегулировании социальных конфликтов (реформы Александра II, Столыпина) [36].

Анализ традиций государственного устройства России приводит евразийцев к их концепции идеократического государства, в котором безусловно, есть элементы теократии, когда политическая власть принадлежит духовенству, духовной власти, но где не должно быть такого смешения светской и духовной власти, которую мы видим в католичестве. Именно претензии духовной власти на власть светскую так отталкивали евразийцев в католицизме.

Не теократия, а идеократия (власть, основанная на господстве идеи) так или иначе присутствовала в государственно-политическом развитии России и была ее спецификой, ее самобытностью. Государственная власть всегда стремилась сплотить общество единой цементирующей его идеей, будь то концепция Руси как хранительницы православия («Мы есть третий Рим»), или идея гражданского, патриархально-монархического согласия («самодержавие, православие, народность»), или патриотическая идея («за веру, царя и отечество»).

Именно в русле этой традиции евразийство выдвигает свою показавшуюся тогда всем небывалой и оригинальной, но в сущности глубоко традиционную концепцию идеократического государства, концепцию государственного единства, обеспеченного общей для всех составляющих это государственное тело идеей [37]. Речь идет прежде всего об идее геополитического единства России, основанного на наднациональных религиозно-духовных началах.

Все попытки разгосударствления государства и раскола нации, ее территориального единства вели, по мнению евразийцев, только к небывалой анархии, уничтожающей созидательные позитивные начала общественной и индивидуальной жизни [38]. Попытка большевиков разрушить государство, выпустив на волю «зверя», высвободила анархические силы такой сокрушительно-разрушительной мощи, способные смести их самих, что заставила большевиков искать механизм, способный вновь собрать распадающиеся силы государственности. «Мы чувствуем за этим превращение человека в механическое орудие для целей государственных, умирание души в совершенной массовой дисциплине» [39].

Большевики находят новый механизм управления государством в идеологии.